

# Пушкин и Аркадий Родзянка

(Из истории гражданской  
поэзии 1820-х годов)

**И**мя Аркадия Родзянки не ново в пушкиноведческой литературе. Известный в свое время, а потом совершенно забытый поэт дальнего пушкинского окружения, участник «Зеленой лампы», писавший эротические стихи, затем корреспондент Пушкина и адресат его послания, знакомец А. П. Керн — вот краткое резюме тех сведений, которыми мы о нем располагаем. Конечно, общая сумма этих сведений значительно больше; Родзянка печатался, он упоминается в целом ряде эпистолярных и мемуарных документов эпохи. Материалы о нем были тщательно собраны в работах Б. Л. Модзалевского, в «Материалах для биографического словаря одесских знакомых Пушкина» под редакцией М. П. Алексеева<sup>1</sup> и к биографии его вряд ли можно добавить сейчас что-либо существенное на основании печатных источников. Между тем в истории взаимоотношений его с Пушкиным есть эпизоды, смысл которых, как мы можем предполагать, значительно шире, чем перипетии личных отношений. Мы имеем в виду прежде всего сатиру Родзянки на Пушкина, из которой до настоящего времени нам известны лишь два стиха («И все его права: иль два иль три Ноэля, Гимн Занду на устах, в руках — портрет Лувеля»), процитированные в письме В. И. Туманского к сестре. Контекст этих стихов, назначение их — неизвестны и загадочны. Загадочен и дружеский характер последующего общения Пушкина и Родзянки. Имеющийся печатный материал вопросов этих не проясняет.

Проясняет их отчасти сборник стихотворений Родзянки, находящийся ныне в собрании А. С. Норова в рукописном отделе РГБ<sup>2</sup>. Это подносный экземпляр, своего рода авторский изборник сочинений Родзянки, писанный рукой переписчика и включающий стихи

с 1812 по 1840 г. Он был составлен автором для жены Надежды Акимовны, урожденной Клевцовой, по-видимому, в конце 1830—начале 1840-х гг.; попал он к Норову несомненно от самого Родзянки, сохранявшего с ним многолетнюю дружескую связь.

Сборник содержит 150 стихотворений, в подавляющем своем большинстве неопубликованных; в их числе находится и интересующая нас сатира. Стихи, как правило, датированы и позволяют следить за эволюцией творчества их автора.

Возникающая картина неожиданна. Поэтический облик Родзянки лишь отчасти совпадает с тем, который известен нам по печатным источникам. В ряде случаев и эти последние предстают в ином свете. Перед нами литературный деятель эпохи декабризма, с постоянным и прочным тяготением к гражданской поэзии. Он крайне интересен — не своим довольно заурядным литературным талантом, но тем поистине необычайным сочетанием и противоборством общественных и эстетических идей, которые отразились в его творчестве.

Это заставляет нас заняться восстановлением первых этапов его творческого пути, ибо только в этом контексте история его взаимоотношений с Пушкиным предстает в своем принципиальном историко-литературном качестве.

## 1

Аркадий Гаврилович Родзянка (1793—1846) был сыном хорольского поветового маршала дворянства. Отца он потерял рано; воспитание детей взяла на себя мать. Имение Родзянок находилось в непосредственной близости к культурному гнезду Украины 1810—1820-х гг. — Обуховке и Трубайцам; семейства Капнистов и Родзянок были соседями. С ранних лет Родзянка вошел в литературный круг Капнистов; он был дружен с С. В. Капнистом, старшим сыном поэта, также писавшим стихи и состоявшим членом «Беседы»<sup>3</sup>.

Принадлежность Родзянки к капнистовскому кружку — факт немаловажный. Значение этого кружка как цитадели украинской аристократической оппозиции, с одной стороны, и рассадника декабристских идей — с другой, достаточно хорошо известно, и творчество Родзянки, как мы постараемся показать далее, было как бы проекцией в литературу всего этого сложного идеологического комплекса. Эта среда внушила ему особую приверженность к национальному быту и национальной старине, отразившуюся хотя бы в обширной оде, написанной по случаю «обеда в Трубайцах 20 июля 1820 года», в день именин Ильи Петровича Капниста, сына П. В. Кап-

ниста. Отсюда же — и быть может, непосредственно от П. В. Капниста — он черпал идеи французского политического и религиозного вольнодумства; владелиц Трубайцев, проживший несколько лет в Европе, по семейному преданию, в полувынужденной эмиграции, причудливо сочетал в себе патриархальность вельможи-украинофила, едва ли не сепаратиста, с вольтерианским европеизмом и просветительством радикального и атеистического извода. Все это скажется затем на стихах Родзянки 1820-х гг. Наконец, в кругу Капнистов он воспринял культ Д. П. Трошинского, одного из виднейших деятелей украинской аристократической оппозиции, наряду с Н. С. Мордвиновым широко популярного среди членов Союза благоденствия и более того — в радикальных кружках «южных» декабристов. Впрочем, с семьей Трошинского Родзянка общался и лично. Семьи Родзянок, Капнистов и Трошинских нередко съезжались и по месяцам жили вместе; М. И. Гоголь, мать писателя, вспоминала, что Аркадий Гаврилович однажды по просьбе Трошинского за два часа сочинил комедию для домашнего театра<sup>4</sup>. В 1814 г. он пишет оду «Дмитрию Прокофьевичу Трошинскому. На новый 1815 год»; ее лексика, фразеология, общественные настроения прямо ведут нас к декабристскому варианту хвалебно-одической традиции; ода обнаруживает черты большой типологической близости к созданному десятью годами позднее своеобразному «циклу» од в честь Н. С. Мордвинова, начиная с фигуры адресата — «вельможи-гражданина» — и до публицистических формул типа «народная польза», «благо сограждан», «гражданские заслуги»<sup>5</sup>. Все это станет обычным в гражданской поэзии следующего десятилетия.

Родзянка никогда не порывал связи со своим юношеским окружением, однако он покинул родное имение довольно рано, и первоначальное литературное воспитание его осложнилось новыми воздействиями. Он учится в московском Благородном пансионе в одно время с М. А. Дмитриевым и Н. В. Сушковым; «страстный любитель поэзии»<sup>6</sup>, участник пансионских изданий, он совершенно в духе пансионских традиций подражает высокой поэзии XVIII в. и переводит Вергилия и Ж.-Б. Руссо. Товарищи относили его к «державинской школе». Учитель его — А. Ф. Мерзляков; в 1813 г. он даже живет у Мерзлякова в качестве пансионера<sup>7</sup>. Через девять лет он упоминет имя своего наставника в сатире «Споры», объявив его эталоном «вкуса».

В 1814 г., прекратив посещение лекций, к которым он был допущен как вольнослушатель, Родзянка поступает в гвардию и переезжает в Петербург. Здесь давние связи с Капнистами приводят его к Державину. 3 октября 1815 г. Державин писал из Званки С. В. Капнис-

ту о посещении Родзянки, которым он был очень доволен<sup>8</sup>. Нет сомнения, что литературному покровительству Державина Родзянка был обязан тем, что его стихотворение «Развалины Греции» (1814) было в 1816 г. намечено к чтению в заседании «Беседы»; стихи эти, признаваемые «написанными превосходно, сильными, гладкими, звучными»<sup>9</sup>, конечно, открыли бы их автору двери высокого литературного собрания, но в том же году Державин умирает, и вскоре прекращает свое существование и самая «Беседа». Одой «Державин» молодой поэт принес дань памяти своего учителя и недолгого литературного покровителя — и вместе с тем подвел итог периоду своего литературного ученичества. Он попытался имитировать державинскую поэтику — и не без успеха; современники замечали, что в этой оде он «схватил удачно и язык и самый тон Державина»<sup>10</sup>.

К этому времени имя Родзянки уже пользуется некоторой известностью в литературных кругах Петербурга. Он печатается в «Духе журналов», «Сыне Отечества», а 15 ноября 1817 г. его единогласно избирают в Общество любителей словесности, наук и художеств, и он начинает сотрудничать в «Благонамеренном» и посещать Общество — впрочем, очень нерегулярно<sup>11</sup>. Его излюбленные жанры — ода, послание; немалую дань он отдает и гедонистической, и эротической лирике. Эти последние мотивы он доводит до фривольности, и в литературных и околολитературных кругах за ним укрепляется сомнительная слава полупорнографического поэта. Однако это aberrация, читательская легенда. Для него самого на первом плане стоит не эротическая, а высокая, учительная, одическая и инвективная поэзия. Отзывы о его стихах неизменно благожелательны; Бестужев в 1822 г. упрекает Греча за пропуск его имени в «Опыте краткой истории русской литературы» и исправляет оплошность Греча в своем обзоре в «Полярной звезде», где Родзянка предстает как «беспечный певец красот и забавы», пишущий «легко и приятно»<sup>12</sup>. Ему находится место и в списке имен, который заготавливал Рылеев в 1818—1819 гг. для будущего исторического словаря русских писателей<sup>13</sup>.

Однако по своим литературно-эстетическим устремлениям Родзянка в это время не принадлежит к единомышленникам Рылеева или Бестужева. Он остается верен антиромантической линии «Московской беседы», как именовали арзамасцы Благородный пансион, и в 1817 г. заявляет об этом очень определенно и агрессивно — пишет пародийную балладу «Певец», направленную против Жуковского. Он решительно отказывает в праве на существование самому жанру и в этом отношении оказывается на крайнем правом фланге «архаистов» — вместе с рецензентами «Духа журналов» и Мерзляко-

вым, выступившим со своей известной речью против Жуковского несколькими месяцами позже. В своем неприятии баллады он оставляет за собой и Загоскина, и Гнедича, и присяжных полемистов «Благонамеренного»; он ведет атаку против эстетических основ жанра, вслед за «Духом журналов» задевая госпожу де Сталь:

«Гибни, древних красота!  
Здравствуй, мыслей пустота  
Таинственных, мрачных!  
Ум Цельгических творцов,  
Чудеса пивных паров  
И паров табачных!

(См. в сочинении г-жи Сталь «О Германии» главу, где она глубоко-мысленно разбирает влияние шампанских, бургонских и прочих вин на умы французов и пива и трубок на кровь и дух немцев)<sup>14</sup>.

## 2

Мы подошли к тому периоду биографии Родзянки, когда он становится участником «Зеленой лампы» и общается с Пушкиным, и здесь сразу же возникают неясности. Сближение этого эпикурейца с театральным кружком Всеволожских естественно; но в какой мере было закономерно появление его в литературном обществе с политической окраской? Несколькими годами позднее он будет рассказывать Михайловскому-Данилевскому об усилении духа либерализма в гвардии в 1816—1820 гг. и об обществе «лампистов», где участвовал С. Трубецкой и «каждый раз читались стихи против государя и против правительства»<sup>15</sup>. Трубецкой также запомнил Родзянку как члена общества<sup>16</sup>. Родзянка явно воспринимал «Зеленую лампу» как кружок политической ориентации: из рассказа его очевидно, что при нем неоднократно читались какие-то неизвестные нам сейчас противоправительственные стихи.

В нашем распоряжении есть документальное подтверждение участия Родзянки в «Зеленой лампе». Среди бумаг общества находится автограф его стихотворения «К Лигуриному» (1816), читанного 8 августа 1818 г. в Обществе любителей словесности, наук и художеств; оно было опубликовано Б. Л. Модзалевским как принадлежащее неизвестному автору и примечательное в литературном отношении<sup>17</sup>. Стихотворение это — перевод X оды из V книги «Од» Горация — излагает миф о любви Аполлона к Гиацинту, и именно его имеет в виду Пушкин, когда в письме 1823 г. называет Родзянку «певцом сократической любви»<sup>18</sup>. Нет сомнения, что Пушкин слышал его в чтении и запомнил.

Что же касается «духа либерализма», то Родзянка испытал в это время немалое его воздействие и даже сам способствовал его укреплению. Его среда в конце 1810-х годов — это среда будущих декабристов. Известно, что он переписывался с М. П. Бестужевым-Рюминым и несомненно знал участников тайных обществ, связанных с кругом Капнистов: Муравьевых-Апостолов, Лорера, Лунина, Поджио. Друг его С. В. Капнист был членом Союза благоденствия<sup>19</sup>. В лейб-гвардии Егерском полку с ним служил брат его второго друга — В. С. Норов, а также И. Н. Горсткин<sup>20</sup>, оставивший показания о литературно-политических сходках у И. Долгорукова, где Пушкин читал свои ноэли<sup>21</sup>. О ноэлях Пушкина Родзянка упомянет в своей сатире, где отразится тот же общественно-литературный круг, что и в X главе «Онегина», и в воспоминаниях Горсткина. Все это — довольно близкое окружение Родзянки, и нет ничего удивительного, что в его бумагах оказалось известное стихотворение Вяземского «Сравнение Петербурга с Москвой» — характерный образчик политического вольномыслия эпохи<sup>22</sup>. Однако для нас существеннее те данные о позиции Родзянки, которые мы можем извлечь из его собственного творчества конца 1810-х гг.

Близость оды Родзянки Трошинскому к гражданской лирике 1820-х гг. не была случайным или единичным явлением. Теми же особенностями отличаются и другие его стихи этого времени, где он с неуклонностью убежденного моралиста обращается к одним и тем же темам, идеям, образам. В «Потомстве» (1816), обращенном к П. П. Коновницину, прослеживается мысль об исторической справедливости, которая клеймит именем «злодея» современных «Атилл» и воздаст должное героям, к которым были неблагодарны цари<sup>23</sup>. Характерен выбор имен (Минин, Пожарский, Румянцев, Миних) из нового и новейшего периода русской истории.

Во «Властолюбии» — оде, написанной «в подражание Ж.-Б. Руссо», антидеспотическая тема становится центральной.

Ода написана в 1812 г. Дата эта многозначительна. Война 1812 г. и Наполеон сразу же стали предметом исторического и социально-политического осмысления. Наполеон и является основным «героем» оды — но не как личность, а как исторический прецедент, воплощение некоей социальной доктрины, которая продолжала существовать и после того, как война окончилась для него поражением и ссылкой. Совершенно то же самое мы видим и в «Вольности» Пушкина. Новейший исследователь пушкинской оды справедливо замечает, что в строках о «самовластительном злодее» Пушкин имел в виду деспотизм как явление, взятое в обобщенном виде<sup>24</sup>. Однако он вряд ли прав, оспаривая предположение Б. В. Томашевского,

видевшего в них воспоминание о Наполеоне<sup>25</sup>. Толкования не противоречат друг другу, и это можно проследить на примере оды Родзянки, не потерявшей, кстати сказать, своей актуальности в 1817 г.

«Властолюбие» является своеобразным комментарием к «Вольности». Высшее достижение русской политической оды 1810-х гг. — пушкинское стихотворение создавалось независимо от тех или иных индивидуальных образцов, но учитывало их общий дух и проблематику. Вторая строфа «Властолюбия» очень близка к третьей строфе пушкинской оды; Родзянка движется в русле одической традиции времени:

Куда ни устремляю взоры,  
Повсюду браней огонь горит:  
Колеблют царства заговоры  
И гибель всем странам грозит.  
Везде насильство и хищение,  
Увенчанное преступленье,  
Попранна святость алтарей!  
Здесь поражен отец сынами,  
Тут дети преданы отцами,  
Там падают главы царей!

В целом же текст оды Родзянки как будто развертывает в поэтическое рассуждение пушкинскую формулу «славы роковая страсть». Но еще более любопытна в ней постановка проблемы «власти» и «закона». Подобно Пушкину, Родзянка решительно отвергает доктрину божественного основания власти, однако в отличие от Пушкина источником ее объявляет не «закон», а «народ»:

...Перед светом  
Царь должен праведным ответом:  
Народом избран, создан он?  
Или народ — рабов семейство?  
И честь царей — война, злодейство,  
И лучший царь — Наполеон?<sup>26</sup>

Именно так ставил проблему Радишев, с которым Пушкин полемизировал в «Вольности». «Ответ» царя перед народом, его «создавшим» и «избравшим», соответственно теории общественного договора, в радишевской интерпретации выливался в «право мщеное природы». Такого вывода Родзянка не делает, более того, как будто спешит исключить его, опираясь на умеренные варианты доктрины. «Скипетр самовластный» «властолюбия», заявляет он, часто хранит граждан от «больших бедствий» — и развертывает картину мирного благоденствия при просвещенном монархе, заботящемся о народе, подобно Петру и Екатерине<sup>27</sup>. Несмотря на это,

позиция его все же остается радикальнее, чем позиция Пушкина в «Вольности». В середине 1810-х гг. он явно находится на гребне поднимающейся волны политического вольномыслия. В 1818 г. этот эротический поэт пишет «Послание к А. С. Норову», где в полном противоречии со своей поэтической репутацией декларативно отвергает гедонистическую поэзию и любовь во имя познания, долга и дружбы<sup>28</sup>. Апология мудрости и долга возникает на ясно просматриваемой общественной основе. «Дружба» предстает в послании как общественная категория, в полемически подчеркнутом антиэпикурейском и даже несколько ригористическом виде. Именно такая трактовка темы станет обычной в гражданской лирике 1820-х гг. И совершенно закономерно в конце послания, по понятным причинам не попавшем в печать, возникает контраст этических кодексов античного республиканизма и современности. Родзянка предлагает Норову сопоставить современников и древних:

Их смерти торжество и нашей — робкий страх,  
Их независимость — и нашу жизнь в цепях,  
Произведений их и славы бесконечность  
И нас, стремящихся обрести другую вечность.  
Любовь к отечеству ты самством замени  
И с подражанием единственность сравни;  
И если счастье, долг — все смертному свобода,  
Реши: кто боле к ней возносит ум народа?<sup>29</sup>

Социальное кредо автора политических од и эстетическое — автора «Певца» предстают здесь во взаимопроникающем единстве. Собственно говоря, и в «Певце» дело не обстояло иначе, и выпады против «резвой легкости» и «пустоты мыслей» «влюбившегося в слова» русского «света» — это была та же позиция, но переведенная на язык литературно-критических формул. Есть некая закономерность в том, что Родзянка был связан с «Духом журналов», закрытым впоследствии за либеральные выступления<sup>30</sup>. Родзянка предвосхищал критическую часть декабристских литературных программ — вплоть до Бестужева и Кюхельбекера. Воинствующий архаик был всего лишь наследником политической лирики эпохи Просвещения.

### 3

В марте 1821 г. Родзянка выходит в отставку и в том же году уезжает в свое имение. Он был в Петербурге в период бурных политических споров и внутренней борьбы в Союзе благоденствия в 1820 г., закончившейся московским съездом и ликвидацией союза; в столице же застают его начало испанской революции и конгресс Священ-

ного союза в Троппау. Приехав на Украину, он попадает в ту же обстановку политических дискуссий, осложняемых и национальным движением; вопрос о положении Украины, всегда волновавший Родзянку, оказывается в центре внимания продекабристских масонских лож; он поднимался и в беседе Пестеля с И. В. Капнистом<sup>31</sup>. Все это так или иначе отразится в творчестве Родзянки.

В 1822 г. он пишет сатиру «Споры» — произведение во многих отношениях замечательное и симптоматичное.

«Спор» стал в России фактом общественной психологии, а следовательно, и предметом нравоописательной сатиры только в 1810-е гг. Иначе было, например, во Франции, где уже к 1760-м гг. он был частью животрепещущей проблемы терпимости — в широком, религиозном, социальном, философском, смысле. Родзянка, воспитанный на французском просветительстве, знал, конечно, и широко распространенные упреки «философам» в нетерпимости и сектантстве; Вольтера и энциклопедистов обвиняли в этом Галлер, Уолпол, Фонвизин, Руссо; последний замечал, что в основании спора между партиями «безбожников» и «ханжей» лежит обоюдное стремление к деспотической власти<sup>32</sup>. Вяземский в 1817 г. характеризовал Вольтера формулой:

Враг фанатизма, был фанатик ты упорный  
(«Библиотека», 1817).

Примеры легко умножить; сошлемся лишь на басню Хемницера «Слепцы», написанную еще в конце 1770-х или начале 1780-х гг., — в ее концовке утверждается, что от «ересей» и «спорных слов» в законах

На свете не одни погибли миллионы.

В кругу этих ассоциаций самое понятие «спор» приобретало несколько необычные очертания. Спор есть форма интеллектуального подавления одной из сторон, «борьба за власть»:

Но как сообразить порывы нашей страсти  
Ум ближних подчинить суждений наших власти?  
Зачем и почему и по правам каким  
Ты хочешь старшим быть над разумом моим?

Такой спор не ведет к выяснению истины, так как спорящий уже заранее считает себя ее обладателем. Поэтому

Кто разбирает — прав, кто спорит — виноват.

Итак, «дух системы», тот самый «фанатизм философов», мысль о котором была навеяна идеями французских полемистов XVIII сто-

летия, ведет к «деспотизму». Его-то и показывает Родзянка — в разных обличьях и на разных уровнях. Первый уровень — бытовой, анекдотический: чудаковатый «Перфил», «впрочем, не дурак и человек достойный», отравляет жизнь себе и соседям непреоборимой страстью к полемике ради полемики:

Он в церкви оттого горячкой заболел,  
 Что проповеднику перечить не посмел,  
 И, умирающий, с наитием проказным  
 Он в спор втянул попа с служителем приказным.

В «Перфиле» мы можем предполагать портретность, конечно, шаржированную. Однако «Споры» — сатира «на порок», а не «на лицо», точнее — философско-дидактическое рассуждение, к которому часто тяготела сатира этого рода. Рядом с чудачком Перфилом возникает иной спорщик — куда менее безобидный. «Сын церкви молодой», ведущий диспут по всем правилам академических риторик, принадлежит к тому типу «богословов», которых с такой ненавистью описывал Вольтер. Спор о сущности Бога — первая ступень к религиозной распре.

Там сам митрополит, игумены, попы —  
 Нежественных прав священные столпы;  
 Там с силой у двора и с пышностью житейской,  
 Смиренно правя всем, сидит собор библейский;  
 Бежа свободы дня, целуя злато уз,  
 Там славит Криднерша царей святой союз...

Это уже не абстрактно-философское рассуждение, а политическая инвектива с совершенно конкретным адресатом, и принадлежит она к числу наиболее острых в политической поэзии 1820-х гг. Родзянка прекрасно понимает связь между политической и клерикальной реакцией последних лет царствования Александра и оценивает ее с точки зрения левого крыла просветительства — так, как это делали публицисты декабристского лагеря. Вдохновляясь Вольтером, он развертывает зловещую панораму кровопролитных религиозных войн, этих практических аргументов, к которым прибегает догматическая церковь. Как и Вольтер, он не видит разницы между фанатизмом папской курии и реформатов, исламом и пуританами Кромвеля. Все это — «святош губительны вражды, Их вдохновенных книг священные плоды». Он не историк-детерминист, а публицист-просветитель; он обращается к истории в поисках положительных и отрицательных примеров. Положительные он находит в истории России; опираясь на «Историю государства Госсийского», он подчеркивает, что русское средневековье отличалось боль-

шей веротерпимостью сравнительно с католическим миром, и ищет панацеи в просвещенном государе:

О ты, чей трон — Земля, круг солнечный — венец,  
 Терпимость вечная, о благодати отец!  
 С железом и с огнем, и с язвой обращенья  
 Дай, чтобы минул нас дух вероисступленья,  
 Чтоб кроткий нрав царей, советы мудры их  
 В грядущем были нам порукой дней златых!..

Это пишется в самый разгар официального мистицизма, по свежим следам разгрома Казанского и Петербургского университетов, в виду деятельности Магницкого и министерства Голицына. И Родзянка как будто снимает свою социальную идиллию заключительной, необыкновенно сильной сценой, в которой традиционная сатира «на порок» снова приобретает почти зримую политическую конкретность:

Но в клубке наглец со мною в речь вступает  
 И гордость в поступи смиренной прозирает:  
 — В стихах сих, сударь мой, вы скрыли тонкий яд;  
 Коль верить вам, никто ни прав, ни виноват;  
 Нет меры истине, дороги к просвещенью  
 И следовать должны мы скотскому влеченью.  
 — *Мне это написать не приходило в ум.*  
 — Хотя прямо ваших вы не изложили дум,  
 Но с толкованием все делается ясно...  
 — *Но я противное сказал ли вам напрасно?*  
*И повторить еще для вас душевно рад:*  
*Кто разбирает — прав, кто спорит — виноват;*  
*Вот все; но мне теперь почти сознаться можно,*  
*Что не в одном дворце промалчивать нам должно.*  
 — Но тут два смысла есть, позвольте вам сказать.  
 Я различаю здесь... — *Вы властны различать;*  
*Я мысль свою открыл; довольны вашей будьте*  
*И мнение мое скорее позабудьте.*  
 — Мне? ваше мнение? кто учит думать вас?  
 Вам мысль запрещена; я доношу тотчас!<sup>33</sup>

На этой ноте Родзянка обрывает свою сатиру. Последние ее строки, призывающие к удалению на лоно «родительских пенатов», — традиционный элегический гораццианский мотив, — конечно, не искупают трагического пессимизма всей картины.

По своей остроте «Споры» — явление незаурядное даже в период расцвета гражданской поэзии 1820-х гг., где мы едва ли наберем десяток резких антиклерикальных выступлений, притом со

столь ярко выраженной политической окраской. Родзянка оказывается в первых рядах антицерковных вольнодумцев, как раз в период «Гавриилиады» и пушкинского «афеизма».

Однако мы не случайно начали анализ сатиры Родзянки с напоминания о «споре философов», в котором умеренные противники энциклопедистов возвращали им их же собственные обвинения и аргументы. Родзянка был близок именно к умеренным, и в самых резких памфлетных зарисовках господствующей реакции и мистицизма звучит некая скептическая нота. Нельзя рассчитывать, «чтоб вынырнув из вод всех прелестей во цвете Нагая истина явилась в здешнем свете». Он иронизирует над естественно-научными гипотезами, подрывающими авторитет деистического Бога, совершенно так же, как над теологическими догмами; теории Лапласа, Ньютона, Бюффона и Лейбница, равно как и мистика пифагорейцев, для него — порождение того же «гордого духа системы», который создает «в пылу своих видений На двух-трех истинах тьмы новых заключений». И отсюда же — его резкое отталкивание от тех теорий преобразования общества, которые развивались и крепили на его глазах в среде декабристских идеологов. Он готов разделить скептицизм И. В. Капниста, беседующего с Пестелем о грядущем перевороте, или иронию В. В. Капниста, заметившего однажды Муравьевым и Лунину, что их политические предположения простираются «от конюшни до сарая»<sup>34</sup>. Однако у Родзянки этот скептицизм получает оформление лишь в 1822 г., и это очень характерно. Он совпадает по времени с кризисом, охватившим широкие общественные круги после разгрома европейских революций и распада Союза благоденствия, — с тем кризисом, который сказался в ряде художественных и идеологических документов этой поры и заставил лидеров движения произнести резкий приговор Союзу благоденствия<sup>35</sup>.

Плодом этого перелома явилась и вторая сатира Родзянки, ближайшим образом нас интересующая. Это сатира «Два века», содержащая столь часто цитируемые памфлетные строки о Пушкине. Она, как мы уже говорили, сохранилась в тетради РГБ, также датирована 1822 г. и носит подзаголовок «Отрывок». Было ли написано еще что-либо, помимо имеющегося здесь текста, неизвестно.

Самая тема этой сатиры — век Екатерины в сравнении с современностью — животрепещущая идеологическая проблема. Она возникла очень остро и определенно в первых же сценах «Горя от ума», где Чацкий бранил «век покорности и страха», формулируя символ веры исторического оптимизма периода становления декабристской революционности. Однако уже в 1818 г. такая точка зрения не была общей, и в этом смысле очень показательна та скептическая нота,

которая звучит в письме Н. И. Тургенева к брату: «У нас иногда появляются в публике какие-то судорожные порывы либеральности; но это ничего не значит; и, сравнивая недавно наш век с веком Екатерины, мы нашли, что тогда было более умных и истинно смелых людей, чем теперь»<sup>36</sup>. Несколько иначе та же мысль о деградации общества возникает у Вяземского, писавшего А. Тургеневу в 1819 г.: «Мы утратили слабости отцов наших, но с ними и многие наслаждения. <...> Мы поколение Катонов, как ни говори, а отцы наши были сибариты»<sup>37</sup>; мысль эта подхватывается в 1824 г. Баратынским в послании «Богдановичу», которое как будто определяет собою общую тональность восприятия XVIII в. в середине 1820-х гг.: это век полноты сил, душевного здоровья, «бодрого ума» и «неразвращенного вкуса» в противоположность нынешнему «хилому», с «испорченным чутьем». Все эти тенденции приобретают явную социально-дидактическую окраску в стихотворении В. Туманского «Век Елисаветы и Екатерины», читанном на известном публичном собрании «состязателей» в доме Державина 22 мая 1823 г.; концепция этого стихотворения — явный симптом «переоценки ценностей»; оно словно прямо направлено против инвектив Чацкого и перекликается со скептическими пассажами Н. Тургенева:

Величественный век! Вотще в мечтах безумных,  
 Как дети, радуясь толпе событий шумных,  
 Образователи людей на новый лад  
 Бросают на него неблагоклонный взгляд —  
 Поднесь жива его зиждательная сила,  
 И слава наших дней его не помрачила.<sup>38</sup>

Стихотворение Туманского было очень благоклонно принято левой частью «состязателей»<sup>39</sup>; оно шло в русле декабристской гражданской поэзии; сам Туманский в эти годы несомненно принадлежит к декабристской периферии. Но столь же несомненна в его стихотворении и прямая полемика, причем не с ретроградами, а с «новаторами».

«Два века» Родзянки точно подхватывают и сводят в единый фокус все эти идеи и тенденции. Родзянка делает это открыто и декларативно, резко противопоставляя гедонизм «отцов», умевших жить и наслаждаться, современному ригоризму, пародийным «Катонам», занятым спорами о политической экономии:

И, резвость оттолкнув и обществ все приятство,  
 Из школ еще кричим: «Народное богатство!  
 Свобода! Деспотизм!» — или путем другим  
 Любезность резкими чертами богатим

(Нахально-дерзкими, будь сказано меж нами).  
 Шуметь, вертеть усы, размахивать руками,  
 Небрежно развалясь, врать смело всякий вздор —  
 Вот чем теперь легко привлечь красавиц хор.

За шаржированностью картины встают, однако, точно схваченные черты общественной психологии. Пушкин свидетельствовал несколькими годами позднее, что в 1818 г. «строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы не снимая шпаг, нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами» (VIII, 55). Но Родзянка не ограничивается суммарными описаниями. Наследник сатирической традиции XVIII в. в ее наиболее активной форме, он естественно выбирает сатиру «на лицо», а не «на пороки», и это мы должны иметь в виду, не спеша определить его памфлет как пасквиль. Сатира «на лицо» была живым жанром; она санкционировалась правилами литературной этики, и нередки случаи, когда задетые «лица» сами принимали участие в распространении списков. В выборе и соотношении друг с другом «лиц» заключается основная документальная ценность памфлета, и мы вынуждены привести здесь целиком всю его среднюю часть. Очертив портрет некоего «Клеона», «образчика» описанных выше «удальств», памфлетист продолжает:

Зато уж важный Клит, враг женщин записной,  
 Лапласа ученик и мыслитель прямой,  
 Нем в обществе, в кругу друзей крикливый спорщик,  
 Оратор полковой, казармный заговорщик;  
 Горячкой заразясь новизн и вольных дум,  
 Дать новый ход вещам его стремится ум;  
 Кипя равно подрывать и алтари и троны,  
 В Квируги метит он, а там в Наполеоны.  
 За ним его Пилад, либералист Клерак,  
 Ученый с легкостью и с притиском остряк,  
 В поэты он попал альбомною безделкой,  
 В законодатели военной скороспелкой;  
 Шарара в действии и каламбур живой,  
 К честям широкий путь он видит пред собой,  
 И, новый Морепа, готов без размышленья  
 В скороговорках вам бросать свои решенья!  
 Иль Корд, защитник их, оратор-гастроном,  
 Обедать тридцать лет скавав из дому в дом,  
 Вчерашний Дидерот, сегодняшний библейщик,  
 Всех обществ, всех начал Тартюф и переметчик,  
 Чтоб жизнь постыдную достойно увенчать,

Не веря ничему, пустился обращать,  
 И, знатен и почтен, смеясь народа крику,  
 Индеек за труды ждет малую толику.  
 С ним гений Дамазит, муз пылкое дитя,  
 Он думает весь мир преобразить шутя,  
 И все права пока — иль два, иль три ноэля,  
 Гимн Занду на устах, в руке портрет Лувеля.  
 Вослед ему шумит недоученый рой.  
 Ругательств с рифмами разносчик под рукой  
 Иль знанье едкое, без затруднений дальных  
 Взятое целиком из наглостей журнальных  
 Парижского клейма, лишь глубоко для дам.  
 И как пощаду дать их сборным вечерам,  
 Где самолюбием нахватанных познаний  
 Решается судьба и книг, и лиц, и зданий,  
 Где острое словцо лет многих губит труд,  
 Где мыслей в дерзости ум высший признают  
 И с веком наравне среди пьянственного пира  
 Где весит прапорщик царей и царства мира,  
 Полн буйства и вина, взывает: «Други, дам  
 Я конституцию двумстам моим душам!»  
 И получить горя, мальчишка своевольный,  
 Столь лестное ему названье «недовольный»,  
 Былое все хулит, лишь раскрывает рот.<sup>40</sup>

Разгадка персонажей памфлета всегда более или менее предположительна прежде всего потому, что облик исторического деятеля, реконструированный нами, никогда не тождествен восприятию его современниками. Приходится пытаться поэтому восстанавливать «репутацию» деятеля, причем в шаржированном отражении и с искаженными фактами биографии, которые доходили до памфлетиста зачастую через «молву» и даже сплетню. В сатире Родзянки несомненно читается только «Дамазит» — Пушкин. От него, вероятно, и следует идти к непосредственному его окружению. Первый в этом списке «Корд» — «оратор-гастроном», много старше Пушкина («обедать тридцать лет скакав из дому в дом»), человек, близкий к правительственным верхам («и знатен и почтен»), наконец, прямо причастный к Библейскому обществу. Все эти признаки в совокупности достаточно ясно обрисовывают фигуру Александра Ивановича Тургенева — тридцативосьмилетнего секретаря Библейского общества, члена Государственного совета, директора департамента в министерстве Голицына. В сознании памфлетиста отпечатались самые заметные черты этого колоритного лица — его органическая потребность «рыскать» по своим знакомым, которых

у него было великое множество, быть «разносителем в обществе» всех значительных литературных новостей; его безудержная горячность в мгновенных спорах, его тучность и «обжорливость» и, наконец, репутация «святоши» — приятеля митрополита Филарета и А. Н. Голицына — и одновременно политического вольнодумца с «тайными помыслами и видами», человека «опасного для общественного спокойствия и гражданского благочиния». Все эти внешние и бросающиеся в глаза отличительные особенности Тургенева, которые с таким вкусом описал Вяземский в очерке, посвященном его памяти<sup>41</sup>, попали в сатиру Родзянки и расположились под определенным углом искажения, соответственно заданию памфлета. Угол этот приходится учитывать при расшифровке других масок. Отметим пока, что характеристика Тургенева как «вчерашнего Дидерота», лицемерного атеиста, проповедующего веру, вовсе не соответствовала действительности.

В карикатуре на «Клерака» явственно проступают черты Федора Николаевича Глинки — наиболее заметного деятеля умеренного крыла Союза благоденствия, сочетавшего в себе поэта и военного публициста. «Каламбур прямой» — вероятно, намек на его фамилию. «Шарада» еще более прозрачна. Это, конечно, широко известная шарада на слово «престол», читанная, кстати сказать, в заседании «Зеленой лампы», где Родзянка мог слышать ее непосредственно: чтение это происходило, видимо, во второй половине октября 1819 г.<sup>42</sup> Из дошедших до нас материалов «Зеленой лампы» это стихотворение наиболее радикально, и Родзянка, вероятно, включал его в число стихов против государя и правительства, о которых рассказывал позднее Михайловскому-Данилевскому. Что касается «честолюбия» Глинки, то основания к такому подозрению давала его тесная связь с графом Милорадовичем, далеко выходящая за пределы обычных отношений генерал-губернатора и его адъютанта<sup>43</sup>. Остается третий — «важный Клит», наиболее трудная для идентификации фигура.

«Клит» мог бы быть обозначением Чаадаева, блестящего гвардейского офицера, чуждавшегося балов и женщин, с репутацией честолюбца и «демагога»<sup>44</sup>. Несколько ниже и уже вне связи с «Клитом» Родзянка употребляет формулу «с веком наравне» — и эта цитация вновь ведет нас к Чаадаеву: это слова из послания к нему Пушкина, опубликованного в 1821 г., с тем же образом кабинетного «мудреца» и «мечтателя», «бесстрастного наблюдателя» «ветреной толпы», участника бурных споров в тесном кружке друзей, к числу которых принадлежит Пушкин:

Поспорим, перечтем, посудим, побраним...<sup>45</sup>

Однако Глинку и Чаадаева никак нельзя было назвать «Орестом и Пиладом», и общий контекст сатиры, по-видимому, указывает на другое лицо. Лицо это, вероятнее всего, Николай Иванович Тургенев, брат А. И. Тургенева. В 1819 г. связь его с Глинкой очень тесна; в это время они задумывают организацию «журнального общества» с привлечением Пушкина, Куницына и др., и тогда же Глинка выпускает брошюру «Несколько мыслей о пользе политических наук. По случаю нового издания книги <Н. И. Тургенева> „Опыт теории налогов“». Их имена оказываются связанными в известном доносе Грибовского и в секретном донесении о Кюхельбекере 8 сентября 1821 г.: «...рано попался он <Кюхельбекер> вместе с А. Пушкиным и бароном Дельвигом в руки Н. Тургенева и Глинки»<sup>46</sup>. В 1821 г. они вместе представляли Петербург на московском съезде Союза благоденствия.

Отзвуки и рефлексии мнений Тургенева в Государственном совете, разговоров в Английском клубе, его печатных выступлений, рассказов и сплетен, ходивших о нем по Петербургу и попадавших в тайные донесения осведомителей, в явном и скрытом виде рассыпаны в сатире Родзянки. Тургенев не был военным, и потому, казалось бы, неуместна его характеристика как «оратора полкового». Но он был теснейшим образом связан с военной средой. В кругу офицеров установился своеобразный культ «великого Тургенева» — «le grand Tourgeneff», как называл его в одном из писем А. Ф. Бригген; он был единственным статским, принятым в масонскую ложу, состоявшую исключительно из военных<sup>47</sup>. В словах же «казарменный заговорщик» ощущается совершенно конкретный и зловещий намек. В ноябре 1820 г. распространился слух, что Тургенев принимал участие в «подкидывании каких-то вырезанных из газет листков в казармы»<sup>48</sup>. Возможно, этот слух косвенно отразился и в доносе Грибовского, где сообщалось, что Тургенев и Глинка имели намерение распространить на толкучем рынке и в армии листовки с карикатурами<sup>49</sup>. Правда, в ноябре 1820 г. Родзянки уже не было в Петербурге, но на юге он был в курсе политических событий и слухов, да и Грибовский относил «заговорщицкие» намерения Тургенева и Глинки к 1819 г., то есть к тому времени, которое и получило отражение в сатире «Два века». И, наконец, — «Квируга» и «Наполеон». Эти имена неизбежно всплывали, когда в гиперболизирующем сознании охранителей александровского времени всплывала фигура Николая Тургенева — человека «рожденного, чтобы властвовать над слабыми умами», как писал потом Вигель<sup>50</sup>. Квиругу вспомнил и В. Н. Каразин в разговоре с Кочубеем, когда речь зашла о братьях Тургеневых<sup>51</sup>. И к Тургеневым же ведет ироническая фраза о

«конституции» для двухсот крепостных душ; это едва ли не намек на подписку в пользу освобождения крестьян, начатую Н. Тургеневым и другими в июне 1820 г., о которой Тургенев писал в своем дневнике: «Подписка наша стала известною. <...> Публика восстает в особенности против наших имен; претекст ее — небогатство наше, малое число наших крестьян. <...> я покуда уверился, что негодование против нас происходит от того, что о нас разумеет эта публика, как о людях опасных, о якобинцах»<sup>52</sup>.

Итак, в памфлете Родзянки очерчивается замкнутый круг, в центре которого — Н. И. и А. И. Тургеневы, Ф. Глинка и молодой Пушкин. Это вполне соответствует нашим представлениям о пушкинском окружении в 1818—1819 гг.; очевидно, оно не оставалось секретом и для современников.

Сатира Родзянки на этом не заканчивается. За картиной политической анархии следует не менее впечатляющая характеристика анархии литературной: одно влечет за собою другое.

Мечтания везде, конца виденьям нет,  
 И в книгах, и в устах столетий средних бред;  
 Лорд Байрон — образец, и гения уродство —  
 Верх торжества певцов, их песней превосходство.  
 Разбойник, висельник, Корсар и Шильд-Гарольд  
 На место Брутов, Цинн дивят теперь народ;  
 Гассан, Джаур! — имен и нравов буйных дикость  
 Атридов, Цезарей сгоняет прочь великость;  
 Жертв крики судоржны, зыванье адских орд.  
 Крик палача поет нам благородный лорд.  
 И мы, благодаря его турецкой музе,  
 С поэзией лобных мест в торжественном союзе;  
 Таинственности мрак, упырь и домовой, —  
 Все ужасы Радклиф встают передо мной  
 С набором общих мест и наглых восклицаний,  
 С богатством мелочным несчетных описаний;  
 Без цели, без конца, бродящий наугад,  
 Писатель нынешний размерами богат,  
 И, слабый правильной пленять нас красотою,  
 Толкает правила, сменяя их — собою!  
 И сей во всех веках, у всех любимцев муз,  
 Как божество, один и неизменный вкус  
 В дни наши разделен на готский, бриттский, галльский,  
 И вскоре, говорят, придет к нам вкус бенгальский.  
 Так зыблет в наши дни новизн надменный дух  
 И пантеон искусств, и Пинда скромный круг,  
 Ничтожа дерзостно, в разборах иссушенный,  
 Прекрасный идеал, веками освященный.

И где остановить не ведая умы,  
 В мрак, первобытный мрак несемса быстро мы,  
 И Сталь кипящая, плененная собою,  
 Дух немцев разжидив французской остроюю,  
 Европы общий плеск умела приобрести,  
 Народам всем крича: «Будь всякий тем, что есть!»  
 Будь всякий тем, что есть! Башкир, киргиз, малаец,  
 Канадский людоед, свирепый парагваец,  
 Гордитесь! Франции вас славит первый ум.  
 И Стали в честь подняв нескладный крик и шум,  
 Военну вашу песнь вы дайте ей послушать.  
 Пить в черепе, курить табак и падаль кушать.<sup>53</sup>

Этот последний фрагмент остался для Родзянки своего рода символом веры. Уже в 1839 г. он переписывает его в письме А. С. Норову<sup>54</sup>. В 1824 г. он отправляет свою сатиру в Петербург, в Общество любителей словесности, наук и художеств, где она и читается<sup>55</sup>, — можно думать, именно в этой, последней своей части, столь близкой литературным установкам «михайловцев».

Такова сатира, стяжавшая незавидную славу доноса на Пушкина. Между тем история распространения ее, равно как и история восприятия, не совсем вяжутся с обычными представлениями о доносе. Плоды творчества осведомителей не пускаются по рукам и не выносятся в публичные чтения; авторы их не спешат обнародовать свое имя. Родзянка делает и то и другое. Его сатира вызывает скорее недоумение, чем негодование; Туманский осуждает ее как бестактность, а не злонамеренность: «Где взял любезный наш автор свои портреты? Они существуют только в воображении его. Неприлично и неблагодарно нападать на людей, находящихся уже в опале царской и, кроме того, любезных отечеству своими дарованиями и несчастиями. Я говорю о неудачном намеке, который находится в сатире на Александра Пушкина. Эти два стиха — И все его права иль два, иль три Ноэля, Гимн Занду на устах, в руке портрет Лувелля — могут подать человеку, не знающему Родзянки, весьма дурное о нем мнение»<sup>56</sup>. Почти то же пишет Пушкин Бестужеву 18 июня 1823 г.: «Я уверен, что те, которые приписывают новую сатиру Арк.<адию> Родзянке, ошибаются. Он человек благородных правил и не станет воскрешать времена слова и дела» (XIII, 64—65).

Родзянка выступал не с доносом, а с подчеркнутой памфлетной декларацией общественного и литературного характера, с «сатирой на лицо». Совершенно очевидна связь ее с более ранними выступлениями Родзянки. Автор «Певца» со своих прежних позиций отвергает и Байрона — «сатанинскую поэзию», которая для него

становится в один ряд с балладой и «романом ужасов» Радклиф; совершенно последовательно он отрицает и теоретическую основу романтизма — гердеровское учение о множественности и национальной обусловленности эстетических идеалов, развитое г-жой де Сталь. Незыблемым для него остается просветительский критерий «вкуса», тяготеющий к классическому идеалу древних. В этом отношении «Два века» не дают нам чего-либо нового, если не считать оценки Байрона, лишенной всякого общественного начала. Такой подход к поэзии Байрона в 1822 г. необычен и архаичен. Впрочем, и он в своем роде закономерен. Для Родзянки всякая поэзия «балладного» типа — пустая игра, лишенная общественного содержания. «Политических красок» байроновского романтизма для него не существует.

«Новое» содержится в общественной программе сатиры. Как мы уже говорили, тема ее не является оригинальной. Неожиданностью является объект нападения, но и она исчезает, как только от изолированного чтения мы переходим к сопоставлению. В самом деле, уже в сатире «Споры» Родзянка предупреждал против грозящего деспотизма «демагогов», стремящихся к полноте неограниченной власти, пока только интеллектуальной. Теперь он указывает на них персонально: это Н. Тургенев, Ф. Глинка, метящие в «Наполеоны». Наполеон же для Родзянки — высшее воплощение деспотизма, «властолюбия», политического авантюризма, грозящего неисчислимыми бедствиями. Тема «Властолюбия» и «Споров» продолжается в сатире «Два века»: XIX в. сделал шаг вперед к гибели человечества, так как он породил непреборимое стремление к личной власти. Так преломляется у Родзянки общее поветрие исторического скептицизма 1820-х гг.

Своеобразие его концепции заключается в том, что, по его мнению, «демагогов» и правительственную реакцию разделяет исчезающе зыбкая грань. В «Спорах», как мы помним, были резкие выпады против официального клерикализма и мистицизма, воплощением которого было Библейское общество. В «Двух веках» «Корд» — А. Тургенев — является связующим звеном между двумя, казалось бы, враждебными лагерями. «Знатный и почтённый», не имеющий никаких убеждений — ни религиозных, ни политических, ни моральных, секретарь Библейского общества, он «защитник» — ширма для безграничного честолюбия двух друзей — Ф. Глинки и собственного брата. В сознании Родзянки тургеневский кружок — это собрание агитаторов против правительства и одновременно фаворитов двора и Голицына; авторов либеральных стихов — и в то же вре-

мя ближайших сподвижников Милорадовича; атеистов, перекрасившихся в клерикалов. В эту орбиту своекорыстных политических страстей, по мнению памфлетиста, втянут и Пушкин. Он не принадлежит, собственно, к «демагогам», но он — игрушка в их руках; его характеризует не лицемерие, но легкомыслие. Он — «гений», «беспутное дитя»; его политические мечтания носят характер ребяческой, поверхностной игры, имеющей всю прелесть опасности. Это свое убеждение Родзянка подкрепляет в беседе с Михайловским-Данилевским ссылкой на эпизод в театре, когда Пушкин показывал всем присутствующим портрет Лувеля с надписью «Урок царям».

Такова конкретизация общей социально-философской посылки, заключенной в «Спорах», и она является непосредственным следствием кризиса просветительского мышления, который начинается в 1820-х гг. Родзянка оперирует общими категориями, которые обнаруживают свою абстрактную природу, как только прилагаются к реальной и очень сложной политической жизни времени. Родзянка не знает — да, вероятно, и не хочет знать — попыток М. Ф. Орлова превратить Библейское общество в политическую трибуну; ему неизвестны — и вряд ли интересны — политические разногласия в семействе Тургеневых. Он оставляет в стороне и отлично ему известную революционизирующую роль стихов Пушкина, засвидетельствованную многими членами тайных обществ; впрочем, нужно заметить, он ее и не отрицает. Родзянка отбирает ряд, по его мнению, однозначных фактов и создает стройную логическую схему, рационалистическую модель политической жизни, подтверждающую его скептическую концепцию.

Итак, сатира Родзянки оказывается интереснейшим эпизодом эволюции общественных идей, захватившей поэта декабристской периферии. Однако для нас не безразличен и самый материал, которым пользуется Родзянка в своей сатире.

Туманский недоумевал, почему автор «Двух веков» напал на людей, которые существуют лишь в его воображении или — по малочисленности своей — заслуживают скорее одобрения, чем порицания. Туманский был теснее, чем Родзянка, связан с петербургским декабристским кругом и видел в сатире плод случайного раздражения новоиспеченного помещика, совершенно отрешившегося от реальной действительности. Однако, как мы видели, Родзянка почти ничего не «выдумал» сам, он основал свои суждения на ходячих слухах, добавив к ним субъективную авторскую оценку. Возникает особая — и очень важная — проблема, которую можно было бы назвать проблемой «социальной репутации».

Во все времена историческому лицу сопутствует та или иная репутация, которая накладывается зачастую на объективный характер его деятельности, а иногда и заслоняет его собой. В периоды социальных брожений, особенно, как это было в 1820-е гг., связанных с деятельностью замкнутых и даже конспиративных обществ, репутация личная нередко возникает в своем социальном качестве и должна внимательно учитываться исторической критикой. Исследования такого рода «социальных репутаций» для 1820-х гг. нет; между тем оно могло бы объяснить многое в политической жизни этого времени. Сатира Родзянки ставит эту проблему для Тургеневых и — что особенно важно нам — для Пушкина.

Проблема эта имеет непосредственное отношение к теме «Пушкин и тайные общества». В нашем распоряжении есть несколько противоречивых и разрозненных свидетельств о том, как «южные» декабристы воспринимали личность и деятельность поэта. Стихами его широко пользовались в агитационных целях; М. П. Бестужев-Рюмин хорошо помнил наизусть и распространял стихотворение «Кинжал» («гимн Занду») <sup>57</sup> (не от него ли получил стихотворение и Родзянка?). Наряду с этим мы все же можем предполагать, что характеристика Пушкина в сатире Родзянки («гений — беспутное дитя») скорее была повторена памфлетистом, нежели изобретена заново. Именно эту «социальную репутацию» Пушкина и — шире — лицейского круга в определенных сферах «южных» декабристов отразило известное письмо И. И. Горбачевского к М. Бестужеву от 12 июня 1861 г. <sup>58</sup>; фактическая точность этого письма была дезавуирована в научной литературе <sup>59</sup>, но оно не может быть заподозрено как социально-психологический документ. Горбачевский, не знакомый лично с Пушкиным, смотрит на него почти так же, как Родзянка, равным образом передавая чье-то мнение. Он раскрывает отчасти источник своей информации — рассказы того же М. П. Бестужева-Рюмина и С. И. Муравьева-Апостола. Небезынтересно, что в то же время в письмах М. И. Муравьева-Апостола мы встречаем довольно близкие по тону скептические отзывы о Пушкине <sup>60</sup>.

Имена, названные Горбачевским, замыкают круг: Бестужев-Рюмин и Муравьевы-Апостолы были так или иначе связаны с капитановским кружком; о знакомстве первого из них с Родзянкой, как мы упоминали, есть и положительные сведения. Перед нами факт «социальной репутации», и дальнейшее исследование должно прояснить широту ее бытования, среду распространения, источники информации, причины, размеры и характер субъективных искажений действительного положения вещей, поскольку оно может быть установлено. Сатира Родзянки дает в этом отношении материал, которым историк не может пренебречь.

## 4

Нам остается добавить немного, ибо последующая биография Родзянки, во многих отношениях заслуживающая внимания, нас здесь интересовать не может: она не имеет отношения к Пушкину. Известные нам стихи Родзянки середины 1820-х гг. — почти исключительно любовные элегии, гедонистические послания и мадригалы; в эпоху развития «романтической» поэзии они все более и более воспринимаются как архаичные. В письме к А. А. Бестужеву от 8 февраля 1824 г. Пушкин пренебрежительно упоминает о «похабном» мадригале Родзянки в «Полярной звезде» (XIII, 87—88); почти ту же характеристику, что и Пушкин («бессмысленный Родзянка»), дает этим стихам Бестужев<sup>61</sup>. Годом позже Пушкин откликается на стихотворную перепалку между Родзянкой и Туманским, возникшую по совершенно личному поводу<sup>62</sup>; стихи Туманского он находит «прелестью» (XIII, 206). Опыты Родзянки в «легкой поэзии» он явно считает не стоящими внимания, хотя и именует его «наместником Феба и Приапа» (XIII, 129). Несколько иначе он относится к его сатире.

Первое чтение «Двух веков» вызвало у Пушкина вспышку: «Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости, да и стихи сами по себе недостойны певца сократической любви» (XIII, 65). Здесь можно было бы ожидать полного разрыва отношений, однако его не последовало: по-видимому, Пушкин позднее уже не склонен был считать сатиру «доносом». Сохранился его отзыв, несомненно имеющий в виду «Два века», но, к сожалению, не поддающийся точному датированию; его передает Н. А. Маркевич, в начале 1820-х гг. близкий к декабристской периферии, ученик Кюхельбекера, знавший и Пушкина. В неопубликованной части записок Маркевича читаем: «Лет шесть после моего выпуска из пансиона я познакомился с Туманским в Ярославце, а потом и сблизился с ним. Там же я познакомился с Аркадием Гавриловичем Родзянкою, о котором Пушкин однажды сказал: „У этого малороссиянина злое перо; я не любил бы с ним ссориться“. Это был добрейший человек, даровитый поэт, слог его был несколько устарелый, но ума было в стихах много, и этот ум скрывал шероховатость стиха. С ним я сошелся и был в коротких отношениях; мы друг друга искренно любили. Кюхельбекер мало ценил его стихи, и напрасно: он стоил большего внимания. После об нем я буду говорить, в отношении к Софье и Ульяне Григорьевнам Туманским, в отношении к его жене, дому, гостеприимству; в отношении к его измятой оспою физиономии, к его пионовским стихам и пр.»<sup>63</sup>. Эта часть мемуаров Маркевича не сохранилась или не была никогда написана.

В 1824 г. Пушкин «с нетерпением» ждет к себе «предателя-Родзянку» (XIII, 67), а 2 августа того же года посещает его в имении<sup>64</sup>. Затем некоторое время они поддерживают переписку, предметом которой становится приятельница и соседка Родзянки по имени А. П. Керн. Тон писем совершенно дружеский. Они сохранили нам и несомненные, хотя и скудные, следы литературных бесед, в которых упоминалась и сатира «Два века»; конечно, ее имеет в виду Пушкин в письме от 8 декабря 1824 г.: «...пиши сатиры, хоть на меня» (XIII, 128); о концовке ее идет речь и в послании Пушкина к Родзянке:

Ты обещал о романтизме,  
О сем парнасском афеизме  
Поговорить еще со мной...

Проблемы романтизма, против которого столь темпераментно и непримиримо выступил в своей сатире Родзянка, по-видимому, стали предметом обсуждения, и именно в контексте сатирических нападок Родзянки на Жуковского и Байрона делается понятной та лукавая веселость, с которой Пушкин встречает известие, что гонитель романтизма пишет романтическую поэму и «перебивает» у Пушкина «романтическую лавочку». Грозные инвективы Родзянки против местного колорита и ориентальной экзотики («имен и нравов буйных дикость Атридов, Цезарей сгоняет прочь великость») ощущаются в подтексте пушкинского письма к нему от 8 декабря 1824 г.: «Кстати: Баратынский написал поэму (не прогневайся про Чухонку), и эта чухонка говорят чудо как мила. — А я про Цыганку; каков? подавай же нам скорее свою Чупку — ай да Парнасс! ай да героини! ай да честная компания!» (XIII, 128—129). Пафос отрицания, по-видимому, остывал в Родзянке, хотя, как мы знаем, от позиций своих он все же не отказался. За романтической поэзией, однако, он следит; по просьбе Михайловского-Данилевского он пересылает ему свой экземпляр «Бахчисарайского фонтана», — к сожалению, без всякого отзыва<sup>65</sup>.

В последний раз Родзянка обращается к имени Пушкина в стихотворении, написанном при известии о его гибели, — и здесь как будто прорывается истинное его отношение к великому поэту, с которым пришлось ему общаться в дни молодости:

Любимец наш, отрада, друг,  
Честь, украшенье полуночи, —  
Его напевов — жаждал слух,  
Его лица — искали очи!

Это стихотворение, опубликованное дважды<sup>66</sup> и вошедшее в известную «Пушкиниану» В. В. Каллаша, обычно не рассматривается

в ряду поэтических откликов на смерть Пушкина. Между тем оно этого вполне заслуживает. В нем еще раз заявил о себе общественный пафос творчества раннего Родзянки. Его поэтическая тема — «суд», «отмщение», которые должен осуществить — и осуществит — царь, «венчанный Россом представитель», приводящий в действие «закон». В конце 1830-х гг. воскресает просветительская идея, провозглашенная Родзянкой двадцатью годами ранее, и вместе с нею — идея учительной и агитаторской миссии поэта:

Коль ближние, склоняясь челом,  
В боязни кроются виновной,  
Ты ль, Муза, пред певца костром  
Пребудешь робкой и безмолвной?  
Как Цезаря кровавый плащ,  
Бери, кажи ты Барда тогу,  
Зови к царю, к народу, плачь  
И месть кричи земле и Богу!

«Примирительная» концовка с надеждой на суд царя лишь отчасти нейтрализует этот императив, прямое требование, эту апелляцию к суду народа, «общего мнения» на равных правах с судом власти и судом неба. В обстановке общественного возбуждения 1837 г. это — «возмутительные строки», каких мы не найдем нигде в поэтической некрологии Пушкина, за одним, впрочем, исключением. Как и ранее, Родзянка подходит к острейшим темам, которые затем во всей полноте и художественной цельности будут звучать в стихах его более талантливых современников. На этот раз он говорит нечто подобное тому, что мы читаем в знаменитой «Смерти поэта», — если не в ее «преступных» заключительных строфах, то во всяком случае в «дерзком» эпиграфе.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Русский биографический словарь: СПб., 1913. Т. Рейтерн-Рольцберг. С. 295—297; Алфавит декабристов / Под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925. С. 387—388; *Пушкин. Письма* / Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 274, 377 (с указаниями на предшествующую литературу); Пушкин: Статьи и материалы. Вып. 3 / Под ред. М. П. Алексеева. Одесса, 1926. С. 80—81.

<sup>2</sup> РГБ, Норов, № 7 (в дальнейшем: Сб. РГБ).

<sup>3</sup> См. упоминания о сыновьях «М. М. Родзянкиной» в «Воспоминаниях» С. В. Капнист-Скалон (Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ. М., 1931. Т. 1. С. 307); в богатых комментариях Ю. Г. Оксмана к ним — сведения о круге Капнистов, откуда заимствуем дальнейшие данные. «Послание к Семену Васильевичу

- Капнисту» Родзянки (1815) — в Сб. РГБ (л. 247); отрывок из него — в «Памятнике отечественных муз» (СПб., 1827. С. 98, 2-й pag.); стихи его на смерть В. В. Капниста, с прекрасным знанием реалий быта семьи — в «Трудах Общества любителей российской словесности при имп. Московском университете» (Ч. 5. М., 1824. С. 250).
- <sup>4</sup> См. об этом письмо М. И. Гоголь к С. Т. Аксакову 3 апреля 1856 г. (Современник. 1913. № 4. С. 250). Среди мадригалов Родзянки 1815 г. есть стихотворение «К Н. Д. Х. 1815»; адресат его, конечно, княгиня Надежда Дмитриевна Хилкова, дочь Трошинского, в 1815 г. жившая в Петербурге (Сб. РГБ, л. 398); ср. также стихотворение «Княжне Пр-асковье» И. Хилковой. 1826 года» (там же, л. 390) — внучке Трошинского, предмету сильного увлечения М. И. Муравьева-Апостола.
- <sup>5</sup> Сб. РГБ, л. 88—90; о «цикле Мордвинову» см.: *Стенник Ю.* Стихотворение А. С. Пушкина «К Мордвинову» (к истории создания) // *Русская литература.* 1965. № 3. С. 172—181.
- <sup>6</sup> *Сушков Н. В.* Воспоминания о Московском университетском благородном пансионе. М., 1848. С. 55.
- <sup>7</sup> *Свербеев Д. Н.* Записки (1799—1826). М., 1899. Т. 1. С. 83.
- <sup>8</sup> *Державин Г. Р.* Сочинения, с объяснительными примечаниями Я. Грота. 2-е изд. СПб., 1876. Т. 6. С. 368.
- <sup>9</sup> *Аксаков С. Т.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 334.
- <sup>10</sup> *Дмитриев М.* Мелочи из запаса моей памяти. 2-е изд. М., 1869. С. 159.
- <sup>11</sup> Научная библиотека им. Горького, СПбГУ. Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Родзянка был на заседаниях один раз в 1817 г. и два — в августе 1818 г., прочитав несколько ге-
- донистических стихотворений и перевод из Вергилия.
- <sup>12</sup> *Б<естужев> А.* Почему? (Замечания на книгу: Опыт краткой истории русской литературы). Письмо к издателю «С<ына> о<течества>» // *Сын отечества.* 1822. № 18. С. 167; Взгляд на старую и новую словесность в России // *Полярная звезда на 1823 год.* СПб., 1823. С. 29.
- <sup>13</sup> *Назарова Л. Н.* Замысел Рылеева «Исторический словарь русских писателей» // *Лит. наследство.* М., 1954. Т. 59. С. 312.
- <sup>14</sup> Сб. РГБ, л. 218—219.
- <sup>15</sup> *Русская старина.* 1890. № 11. С. 505.
- <sup>16</sup> *Щеголев П. Е.* «Зеленая лампа» // *Пушкин и его современники.* СПб., 1908. Вып. 7. С. 28.
- <sup>17</sup> ИРЛИ. Ф. 244, оп. 36, № 40; о чтении — Архив ОЛСНХ в СПбГУ. № 199; ср.: *Модзалевский Б. Л.* К истории «Зеленой лампы». М., 1928. С. 31—32.
- <sup>18</sup> Письмо А. А. Бестужеву 13 июня 1823 г. (XIII, 65).
- <sup>19</sup> *Русская старина.* 1890. № 11. С. 498.
- <sup>20</sup> История л.-гв. Егерского полка за сто лет. 1796—1896. СПб., 1896. Список гг. генералам, штаб- и обер-офицерам. С. 23, 30.
- <sup>21</sup> *Лит. наследство.* М., 1952. Т. 58. С. 155—162.
- <sup>22</sup> *Русское обозрение.* 1897. № 2. С. 531—534.
- <sup>23</sup> *Русский вестник.* 1817. Кн. 6. С. 83—87.
- <sup>24</sup> *Пугачев В. В.* Эволюция общественно-политических взглядов Пушкина (учебное пособие). Горький, 1967. С. 73; ср. его же: *Предыстория Союза благоденствия и пушкинская ода «Вольность»* // *Пушкин: Исследования и материалы.* М.; Л., 1962. Т. 4. С. 135.
- <sup>25</sup> *Томашевский Б.* Пушкин. Кн. 1 (1813—1824). М.; Л., 1956. С. 167—168.

- <sup>26</sup> Благонамеренный. 1818. № 1. С. 3, 9, с примечанием: «Писано в 1812 году во время тиранского владычества Наполеона». В печатном тексте изменены все места, касающиеся этой проблемы: последние 3 строки строфы 1 и цитируемая строфа 8 (полностью переделанная). Здесь она приводится по Сб. РГБ, л. 27, 31. Заметим, что Пушкину уже в 1817 г. мог быть известен текст «Властолюбия», прочитанного А. Е. Измайловым в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств в присутствии В. И. Панаева и Кюхельбекера, после чего Родзянка был единогласно избран в члены общества (архив ОЛСНХ. № 199). С Кюхельбекером в это время Пушкин общается постоянно. Ода «Вольность» появилась в ноябре—декабре 1817 г. (принимаем датировку Б. В. Томашевского, см.: *Томашевский Б.* Пушкин. Кн. 1. С. 144—152); о расхождении в датировке см.: Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 181.
- <sup>27</sup> Не исключено и даже вероятно знакомство Родзянки с «Вольностью» Радищева, хотя бы через В. В. Капниста, который в 1810-е гг. тоже, кстати сказать, постепенно приходит к признанию права народа на свержение «тирана». См.: *Бабкин Д. С.* В. В. Капнист и А. Н. Радищев // XVIII век. М.; Л., 1959. Сб. 4. С. 282 и сл.
- <sup>28</sup> Благонамеренный. 1819. № 13. С. 3—12.
- <sup>29</sup> Сб. РГБ, л. 144. Стихотворение было прочитано А. С. Норовым в Обществе любителей словесности, наук и художеств 19 декабря 1818 г. (архив ОЛСНХ. № 199).
- <sup>30</sup> *Семевский В. И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909. С. 275—278.
- <sup>31</sup> Там же. С. 296 и след.
- <sup>32</sup> См.: *Вульфийус А. Г.* Очерки по истории идеи веротерпимости и религиозной свободы в XVIII веке. Вольтер, Монтескье, Руссо. СПб., 1911. С. 290—291, 142.
- <sup>33</sup> Сб. РГБ, л. 149, 151, 152, 157, 158.
- <sup>34</sup> *Капнист-Скалон С. В.* Воспоминания. С. 351.
- <sup>35</sup> См. материалы, приведенные М. В. Нечкиной в кн.: Грибоедов и декабристы. 2-е изд. М., 1951. С. 365—369.
- <sup>36</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 267.
- <sup>37</sup> Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 1. С. 300—301.
- <sup>38</sup> *Туманский В. И.* Стихотворения и письма. СПб., 1912. С. 113.
- <sup>39</sup> О Туманском в это время см.: *Базанов В. Г.* Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 305 и след.
- <sup>40</sup> Сб. РГБ, л. 161—162.
- <sup>41</sup> *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 8. С. 273—289. Ср. также: *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 492; *Глинка Ф.* Александр Иванович // Современник. 1846. № 1. С. 227—233.
- <sup>42</sup> *Томашевский Б.* Пушкин. Кн. 1. С. 209.
- <sup>43</sup> См. об этом: *Базанов В. Г.* Ученая республика. С. 209.
- <sup>44</sup> Ср.: *Гершензон М. О.* Чаадаев: Жизнь и мышление. СПб., 1908. С. 10, 17.
- <sup>45</sup> *Пушкин А. К* Ч—ву // Сын Отечества. 1821. № 35. С. 84. Следующая строка — «Вольнолюбивые надежды оживим» — в журнальном тексте выпущена.
- <sup>46</sup> Лит. наследство. Т. 59. С. 347.
- <sup>47</sup> *Тарасов Е. И.* Декабрист Николай Иванович Тургенев в Александровскую эпоху. Самара, 1923. С. 255—256.
- <sup>48</sup> Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 5. (Дневники Н. И. Тургенева за 1816—1824 годы). С. 248.
- <sup>49</sup> Русский архив. 1875. № 12. С. 425.
- <sup>50</sup> *Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 1928. Т. 2. С. 106.

- <sup>51</sup> *Базанов В. Г.* Ученая республика. С. 172.
- <sup>52</sup> Архив братьев Тургеневых. Вып. 5. С. 232. Менее вероятно знакомство Родзянки с якушинской попыткой освобождения своих крестьян, относящейся также к 1819—1820 гг.; впрочем, в хлопотах Якушкина также принимал участие Н. И. Тургенев. См.: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина // Ред. и комм. С. Я. Штрайха. М., 1951. С. 30—31, 464 и др.
- <sup>53</sup> Сб. РГБ, л. 162—163.
- <sup>54</sup> Письмо от 22 декабря 1839 г. — РГБ, Норов. № 57. 20.
- <sup>55</sup> Архив ОЛСНХ. № 161.
- <sup>56</sup> *Туманский В. И.* Стихотворения и письма. С. 250.
- <sup>57</sup> *Мейлах Б.* Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 356.
- <sup>58</sup> *Горбачевский И. И.* Записки и письма. 2-е изд. М., 1925. С. 359—360.
- <sup>59</sup> *Щеголев П. Е.* Декабрист И. И. Горбачевский о Пушкине. Фактическая справка // П. Е. Щеголев Из жизни и творчества Пушкина. 3-е изд. М.; Л., 1931. С. 293—296; *Нечкина М. В.* Новое о Пушкине и декабристах // Лит. наследство. М., 1952. Т. 58. С. 163.
- <sup>60</sup> *Азадовский М. К.* «Во глубине сибирских руд...» (Новые материалы) // М. К. Азадовский. Статьи о литературе и фольклоре. М.; Л., 1960. С. 451—452.
- <sup>61</sup> Письмо Бестужева Вяземскому от 1—18 января 1824 г. // Лит. наследство. М., 1956. Т. 60, кн. 1. С. 210.
- <sup>62</sup> Об этой полемике см. в комментариях С. Н. Браиловского в кн.: *Туманский В. И.* Стихотворения и письма. С. 353 и след.
- <sup>63</sup> *Маркевич Н. А.* Записки, 1817—1820 // ИРЛИ. Ф. 488, оп. 1, № 82, л. 67.
- <sup>64</sup> *Цявловский М. А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. С. 501.
- <sup>65</sup> ИРЛИ. Ф. 527, № 127, л. 92 (не датировано; находится среди писем 1824 г.).
- <sup>66</sup> Русское обозрение. 1897. № 5. С. 420; *Сумцов Н. Ф.* А. С. Пушкин: Исследования. Харьков, 1900. С. 329 (исправляется по Сб. РГБ).

Впервые: Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л., 1971. С. 43—68. Полные тексты сатир «Споры» и «Два века» позднее были опубликованы нами в кн.: Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 1.

В. Э. ВАЦУРО

ПУШКИНСКАЯ  
ПОРА



АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
Санкт-Петербург  
2000